



Дизайн автора

ДЕРЕВЯННЫЕ ТРОТУАРЫ

Повесть

Пришли двое. В первый момент это отозвалось в нем недовольством, вызвавшим суетную мысль: «Придется больше заплатить». Но он тут же справился, заулыбался:

– Проходите, проходите. – Жест широкий, демократичный, чуть заискивающий перед их молодостью.

Та, кого привел парень, бросила машинальное «здрасьте» и, шлепнув в угол тяжелый ком полиэтиленовой сумки, критически окинула взглядом несвежий потолок и потертые обои прихожей. Ему показалось, что и он сам, видно, нуждается в небольшом ремонте. Продолжая улыбаться, он поскреб затылок и чуть свысока, назидательно – не смог-таки удержаться – сказал:

– Ну, что ж. Может, познакомимся для начала? Меня зовут Юрий Павлович. В обиходе – Юра.

– Катя, – последовал ответ, и Топилин с неловкостью пожал неожиданно протянутую ему плотную теплую ладонь. Парень – кажется, Володя – добродушно оскалил мелкие прокуренные зубы.

«Кто она ему? Жена? Подружка?» – подумал Топилин. Парня он перехватил вчера, внизу, на лестничной площадке – летом по всему дому делали ремонт.

Пока Катя переодевалась в ванной, они быстренько перетаскали в коридор и на кухню лишнюю мебель, причем Топилин, не желая ни в чем уступать, старался брать на себя большую тяжесть. Пол застилали уже вдвоем – его любимой «Литературкой».

– Ой, сколько здесь интересного! – наклонялась Катя над распахнутыми страницами – с сожалением, что все это скоро будет заляпано и растоптано. И, сидя на корточках, поднимала к нему свое милое круглое лицо.

Отпуск закончился, и Топилин один приехал из деревни, оставив там жену с сыном, чтобы до их возвращения «прокрутить ремонт». Жене он говорил об этом со вздохом и сожалением, но когда она простодушно предложила вернуться вместе, чтобы вместе и «прокрутить», он спохватился:

– Петьку жалко, тут ему и речка, и лес!

– Ладно уж, поезжай! – усмехнулась жена, поняв, что он ловчит. – Отдохни от нас. Ведь этого ты хочешь?

– Да что ты?! – возразил он, оскорбленный ее прозорливостью. – Если хочешь – поедем!

Но она уже не хотела.

Вместе они прожили десять лет, шесть воспитывали Петьку. Не то чтоб очень дружно, но и не осорно, однако совсем не так, как он себе когда-то представлял. Вдвоем было тесно. Хотя с годами он притерпелся к этой тесноте, и неудобства ее привык относить на свой счет. Да и жена поддерживала в нем эту мысль: «Ты у меня бирюк какой-то. Нелюдь». Он пожимал плечами.

Да, самим собой Топилин чувствовал себя лишь в одиночестве. С Петькой тоже было сложно – он брал, только брал, и Топилин, погружаясь в отцовское бескорыстное служение сыну, так и ходил со склоненной к нему головой, не поднимая ее, не умея поднять.

От давно затихших споров с женой осталось только изредка всплывающее желание какого-то окончательного объяснения, после которого, казалось, наступит покой и понимание. А пока так и было, что жажда одиночества приходила вместе с виной. Но и один, он привычно нежно думал о жене и сыне, ждал их, и даже в вечерней, взбудораженной, устремленной к чему-то неизвестному толпе, чувствуя такое же неясное устремление, он оставался верен ожиданию и ни на ком не задерживал глаз дольше, чем это позволяло простое любопытство. Так и выработалась в его лице поджатость черт, с которой никак не вязался его короткий, но вопрошающий взгляд.

Разостлали газеты. И в самом деле было жалко их: как всегда, отложенное на потом так и осталось непрочитанным – газета живет один день, ну, три. А там столько всего – и за неделю не переваришь.

Потребовалась посуда для шпаклевки, и Топилин отправился на кухню. Катя в ожидании остановилась в дверях и смотрела, как он роется в высоком, узком шкафу-пенале. Чувствуя этот взгляд, Топилин становился намеренно неловок, морщил лоб, как бы с усилием вспоминая, куда могла подеваться та банка, руки его неузнающе перебирали кастрюльки, крышки – словно в том, что он здесь знал все наизусть, вдруг обнаружилось что-то уничижительное.

– Вот! – не сдержав-таки довольного восклицания, выдрал он из загремевшей груды то, что искал.

Катя молча взяла.

Стремянки не было – пришлось снова перетащить в комнату тяжелый полированный письменный стол от гарнитура. Топилин накрыл его двойным слоем газет. Катя взобралась, и ее мастерок живо заскреб по выбоинам худо заделанных швов на потолке. Посыпалась штукатурка. Несколько тяжелых кусков упали прямо на стол, и Топилин внутренне вздрогнул.

«Одеялом надо было проложить» – подумал он, глядя, как сноровисто ходит безжалостный мастерок в Катиной руке.

Комната наполнилась меловой пылью, и ему пришлось надеть на голову носовой платок с четырьмя рогульками. Он знал, что смешон в таком виде.

– Ребята, помощь моя не требуется? – спросил он, стараясь не выдать голосом недовольства и огорчения.

– Если можете, – на секунду оторвалась Катя, – воды немного.

– В чем? – спросил Топилин, вопреки желанию представляя, как падает у нее из рук и разбивается фаянсовая чашка.

– В чем хотите. Мне для алебаstra.

Топилин принес в металлической кружке.

– Ой, много! – заглянула она сверху.

Топилин покорно склонил голову – дескать, «понято» – и принес меньше. Этот жест веселой покорности, оцененный Катей, вернул ему, как ни странно, доброе расположение духа.

Работа подвигалась, и Топилину с Катей приходилось часто переставлять стол. Володя – она звала его пренебрежительно «Лодь», «Лодька» – доставал до потолка и со стула. В контраст с ней – небольшой, светлой и ладной – он был широк, костист, коричневат от загара, с крепкими, туго гнушимися пальцами и почему-то без бровей.

Вели они себя странно. Стоило Топилину выйти в прихожую или на кухню, как в пустой комнате раздавался ее недовольный голос. Она поминутно делала Володе замечания, а тот сносил их молча, с вялой послушной угрюмостью.

– Ну куда ты лезешь? Видишь, я тут! – доносилось до Топилина, и ему начинало казаться, что часть этого недовольства падает и на его голову.

Возвращался он в комнату с виноватым лицом.

«Как же вы, ребята, живете вместе?» – думал он, глядя на них.

Катя стояла на столе и, чуть скосив глаза, вела по шву мягкой, смоченной в растворе кистью. Клетчатая рубашка, завязанная впереди нижними концами на узел, тянулась вверх за ее руками, обнажая нежный девичий живот с затененной ямкой пупка. Топилину вдруг стало трудно смотреть, и он отвел глаза.

«Зачем она с ним?» – подумал он.

Ушли они в одиннадцатом часу, когда за открытым окном уже стояла густая августовская темень, пахнувшая пришепетывающей листвой и нагретым асфальтом. Топилин вышел на балкон и смотрел вниз, в неосвещенный двор, пока из дверей парадной не возникли две фигуры, его – темная и ее – светлая, в летнем платье. Они о чем-то говорили, но как Топилин ни прислушивался, до него не долетали даже обрывки слов. Ему почему-то казалось, что должны говорить о нем.

Он долго смотрел на квадратики окон, которые отсюда, с высоты седьмого этажа, разбегались во все стороны бурно разросшегося за последние годы микрорайона. Еще дальше, за ними, было непонятно черно, глухо, и небо не отражало свет уличных фонарей. Там начинался залив. Ему почудилось: прыгни вниз – и спланируешь как раз у кромки воды, на грани света и тьмы.

На следующий день он вернулся с работы пораньше и, делая какие-то лихорадочные приготовления, поймал себя на том, что волнуется.

«Однако...» – усмехнулся он. И еще проблема возникла: поесть или подождать их, чтобы вместе? Да, непременно надо их накормить, небось, не успеют после работы, а ехать издалека, с другого конца города. Он так и думал: «их», «они»... То, что вчера тревожило его, обернулось заботой и добротой, потребностью непременно сделать для них что-нибудь хорошее.

Эта потребность была определяющей во всей его нынешней жизни. Она пришла вместе с сознанием того непреложного, но в общем-то не такого уж обескураживающего факта, что ему не повезло. В самом деле, счастливых билетов не так уж много, и нечего ударяться в панику, если ты не вытянул ни одного. Рано или поздно каждый задает себе вопрос: кто он и для чего живет? Это не страшно, – убеждал он себя, – если ты, в общем, никто и особой какой-нибудь цели нет. Только единицы рождаются для деяний, остальные – просто подмастерья. А то, что ты жив, и у тебя есть завтра, послезавтра и еще много дней, – это и есть движение к цели. Целью может быть просто решение не отравлять другим жизнь, улыбаться по утрам и первому говорить «здравствуйте!»

Втайне Топилин чуть гордился своей философией, в которой, считал он, было что-то от стоицизма. Притом вовсе не требовалось, чтобы другие читали в твоём лице: смотрите, я не очень счастлив, но не делаю из этого события, молчу и стараюсь помочь ближнему. Топилин оскорбился бы, если б кто-нибудь отметил его добродетели.

Был он вроде неплохим проектировщиком. В студенчестве, вообще, блистал, но в лидеры так и не вышел. Работа – это, может быть, обратная сторона той же «личной жизни».

Ребята оказались пунктуальными – пришли минута в минуту. Володя от приглашения «перекусить» не отказался, воспринял как должное, тут же сел за стол с довольным видом, а Катя почему-то покраснела, стала отнекиваться и в результате – так Топилин это понял – оскорбилась за Володю, и потому сам он вдруг засуетился, стал что-то предлагать, совать – получилось неловко. Получилось, что он – хороший и добрый – тратит на них непозволительно много времени и внимания, и они, вместо того чтобы дело делать, чаи тут гоняют, – и все из-за того, что этот дурак Лодька не понимает, что такое интеллигентное обращение. Катя его ни в грош не ставила перед Топилиным, и от этого было вдвойне неловко, будто на Топилина тому и следовало равняться. В какой-то момент Топилин даже рассердился на нее, подумав, что таким образом ремонт не сдвинется ни на йоту, а то, чего доброго, Володя плюнет на все, бросит «пошли!» – и они исчезнут навсегда. И будет прав. Но Володя покорно – эта ожесточенная покорность удивляла Топилина, что-то ему напоминая, – Володя сносил все, только кривя в усмешке край рта.

– Вы, Катя, – невпопад пошутил Топилин, – как маленькая хозяйка большого дома.

Она восприняла это всерьез.

В довершение всего обнаружилось, что Володя забыл наконечник от малярного агрегата, распылитель то бишь. Не веря случившемуся, он еще с досадой шурувал в дерматиновом мешке, а Катя уже выпрямилась, бессильно уронив руки и гневно глядя на него.

– Ну вот, – в нос, как перед слезами, сказала она, – вот и побелили! Спасибо, Лоденька.

– Да я что! – огрызнулся Володя, яростно выворачивая дерматин.

Это уже было слишком.

– Что, нет? – сказал Топилин натянуто.

Володя сделал шутовское лицо и нагло посмотрел на него. Топилин почувствовал – еще мгновение, и контроль над ситуацией будет потерян.

– Вот что... – сказал он, притворно оживляясь. – Привезти можешь? На такси.

– Могу... – посоображал Володя. – Только...

– Деньги вот, – сказал Топилин, вынимая из кармана пятерку. – Хватит?

Володя с симпатией взглянул на купюру, взял и стал натягивать куртку:

– Я скоро обернусь.

И они остались одни.

Потом Топилин часто размышлял, что было бы, если б Володя не забыл этот самый распылитель. И отвечал по-разному: иногда в том смысле, что ничего не было бы, а иногда наоборот, – что все равно суть проявила бы себя любым иным путем.

В тот же миг, когда дверь за Володей захлопнулась, он испытал задержку дыхания и так, с чуть сдавленным горлом, и двигался теперь, что-то делал неслушающимися руками. Удивительно, но и Кате, похоже, стало не по себе. Дверь хлопнула – и пространство замкнулось, объединяя их, обволакивая единым предчувствием. Никогда еще (или разве что давно и забылось), никогда еще Топилин не испытывал такого многозначительного соучастия обступивших стен. Ему казалось, что Катя – его пленница. В каком-то романе он читал, что подобное испытывает владелец автомашины, когда к нему садится женщина, – будто само сиденье, все эти мягкие обводы обнимают ее его руками. Будто само присутствие двоих в этом замкнутом пространстве

предполагало дальнейший путь друг к другу – через оболочку правил, условностей, запретов и страха. Он тут же стал судорожно выплывать, как из глубины водной толщи, из этой сдавливающей невесомости – ходил, брал что-то, переносил с места на место, не поднимая глаз, – да, они ни разу не посмотрели друг на друга, и наконец – боже мой, – что за чепуха, бред какой-то! – наконец выплыл, ему так показалось, что выплыл, и перевел дыхание. Только какое-то дрожание осталось, трепещущий под ветром огонек.

Топилин был так занят своим спасением, что в эти минуты почти не видел Кати. Много ли человек живет в настоящем? Обычно его чувство рассредоточено в прошлое и будущее. Сейчас Топилин был целиком и полностью в настоящем. Оно было его действительностью – творимой и творящей на глазах.

О чем-то Катя его спросила. А он не понял. Теперь она спрашивала во второй раз, и голос ее звучал чуть растерянной.

– Ах, тазик. Ну, конечно, найдется. Вот. – И Топилин выволок из-под ванны пластмассовый тазик. – Подойдет?

Ему сделалось смешно. Чего он только не нагородил. А все просто. Нужен тазик для раствора. И еще что-то. Капроновый чулок? Ну, конечно, – уж что-что, а это найдется. Тут он начал чуть ли не паясничать. Потому что ему не хотелось искать старый капроновый чулок жены, то бишь предъявлять улики другой своей жизни – как если бы они были его виной и обвинением одновременно.

– Вот и чулок, – кривлялся он, протягивал его с торжественным видом. И чувствовал себя отступником, предателем семейного очага.

А нужно было процедить раствор известки с мелом. Они сидели на корточках в крошечной прихожей, Катя держала чулок, натянув его между ладонями, а Топилину надлежало выливать из банки раствор. Катя была во вчерашних джинсах, только рубашка – та, верно, запылилась – была другой. Это была синяя трикотажная футболка, свободная ей, может, не ее, а Володи, – так что растянутая резинка выреза широким полукругом открывала полную шею, мягкие впадинки под ней и над ключицами. В этой футболке особенно ладными были Катины плечи – их покатошь выказывала доверие, послушание и доброту. Лицо Кати было бледноватым, сосредоточенным, а губы красными, как бы обветренными, припухлыми по внешней линии – и краснота их вместе с притемненным блеском глаз казалась нездоровой, как у человека с высокой температурой. Это потом Топилин узнал, что у нее слабые легкие, услышал столь характерное для нее покашливание, а тогда он понял это иначе.

Осадок на растянутом капроне, выросал похожим на женскую грудь холмиком сцепленных друг с другом нерастворившихся частиц красящего вещества, – выросал, оттягивая ткань посередке. Топилин видел перед собой Катину нежную щеку, в которой стало проявляться розовое пятнышко, прямую светлую прядку ее челки. Опорожня до дна банку, он приподнимал плечо, так что каждый раз невольно склонялся к этой прядке, к Катиной щеке, и чувствовал кожей ее тепло. Он делал вид, что, занятый, не отмечает, как близко они друг от друга. Пятнышко на щеке жарко разрослось, а сама Катина щека словно онемела в скрытой борьбе с этим жаром, и в какой-то момент Топилин почувствовал, что если не произойдет еще чего-то, более сложного, почти непосильного, но требуемого от него, то эта щека снова побледнеет, только для него уже навсегда. И, медленно вылив содержимое банки, он не стал отклоняться, чтобы черпнуть снова, а потянулся вперед и прильнул к Катиным губам.

Она не уклонилась, не сделала попытки приподняться, высвободиться – ее губы ответили. Тогда его руки нашли ее, обняли, заскользили по плечам, талии, прижались к теплым холмикам ее груди... Затем включилось сознание, и, целуя Катю, он внутренне заулыбался тому, что ее руки по-прежнему заняты, – опираясь на колени, она продолжала держать капроновый чулок с горкой осадка. Потом он напомним ей об этом моменте, и Катя усмехнется: «Я боялась в таз уронить – пришлось бы заново процеживать...» Он же подумал, что без умысла тут не обошлось. Будто так небеса подстроили.

– Ну вот, – сказал он, смущенный, растерянный, готовый понести любое наказание, когда, наконец, они оторвались друг от друга. – Можешь вылить на меня весь этот таз. Я заслужил.

– Глупый, – сказала она. – Ты заслужил совсем другое.

И эти слова не девочки, а женщины засели в нем, как какой-то главный вопрос, который он давно перестал задавать себе: а знаю ли я, что такое жизнь и кто я есть на самом деле? Вернее, засели они потом, а сейчас они просто оправдали его, поощрив настолько, что вместо чувства вины возникло нечто противоположное – авантюрное, завоевательное, из области «Трех мушкетеров». Надо же – так сказать, будто она увидела в нем то самое, глубинное, раньше, чем он прикоснулся к ее губам. Да, наверное, потому и дано ему было прикоснуться, что она распознала в нем что-то.

И кроме этих слов остался еще вкус ее губ, даже не столько вкус, сколько все вместе – их тепло, влага, податливость. Вот главное – их какая-то почти чрезмерная, растворяющаяся податливость. В ощущении от ее губ сквозило нечто и вовсе странное – какое-то воспоминание, идущее из туманности полузабытых юношеских мечтаний, исполнившихся потом далеко не вполне. Такие были губы. И потому жажда повторить испытанное нахлынула с еще большей силой, и второй их поцелуй длился гораздо дольше, почти в беспамятстве. Может, еще и потому, что теперь Катины руки были свободны и, задерживаясь где-то на его затылке, шее, плечах, словно в своем собственном забытии, бродили слепо и нежно. И все ее небольшое мягкое тело прильнуло к нему столь нежно и безраздельно, что рядом с обжигающей явью желанья в Топилине возник очажок страха. Володя? Нет. Что-то другое, как предчувствие рока, крушения. Он оторвал ее от себя раньше, чем она к этому была готова, и, обхватив ее лицо ладонями, судорожно, вопрошающе заглянул в него. Она не сразу открыла глаза. А открыв, посмотрела на него издали, как зачарованная.

– Катя! – настойчиво, требовательно сказал он, держа ее легкую послушную голову. – Что же теперь?

– Ничего... – вздохнула она.

– А Володя?

– Володя? – казалось, она не понимала, о чем он спрашивал. – Он... он скоро придет.

– Я не о том.

– И я не о том, – сказала она и замотала головой, чтобы высвободиться.

Что-то произошло, что-то он сказал или почувствовал не так, как нужно, и теперь не имел права на нее.

– Если тебя это так волнует, – сказала она с отчуждающим холодком, – он мне никто.

– Разве вы не женаты?

Она посмотрела на него, словно прежде ошиблась, а теперь выверяла окончательный приговор.

Он поспешно закрыл ей ладонью губы.

– Прости. Прости, если можешь. Просто я пень.

Верховым чутьем, на грани потери, он попал в точку. И понял, что попал, потому что в лицо, в глаза ее снова хлынул внутренний свет, а в бровях возникло протестующее, раскаивающееся выражение.

– Ты не пень. Ты красивый... Ты... – И опустила голову.

На какое-то мгновение Топилин увидел все это со стороны, как киносюжет про себя.

«Господи! Неужели это со мной. Так не бывает...»

Звонок раздался резко, как окрик. Они отскочили друг от друга, и Катя, побледнев и бросив на Топилина страшный взгляд, убежала в комнату. Топилин понял, что только теперь, пока ее нет, и надо открывать. Иначе не скрыть. Когда он поворачивал замок, руки его дрожали.

– Вот! – сказал Володя в интонации своих последних, сказанных им час назад слов. Будто за дверью стоял. В руке его лежал забитый известкой цилиндрок. И, видя, что Топилин смотрит непонимающим взглядом, вдруг, словно почуяв что-то, враждебно повторил: – Вот он, наконецник.

Из комнаты вышла Катя, другая, новая, переменившаяся, но не подошла, а стала в дверях, положив руку на косяк. Она так посмотрела на Володю, что Топилина окатило ужасом: «Сейчас признается», – но губы ее, подождав, разомкнулись для других слов:

– Проветрился? Мы сегодня ничего не успеем по твоей милости.

«Как неосторожно она ведет себя!» – паниковал Топилин. Но Володя, против его ожидания, как раз на это и клонул. Рот его перекосила привычная к уккоризнам ухмылка, и он стал спокойно налаживать агрегат.

Вскоре в комнате запахло мокрым мелом, мутная морось оседала на лампочку. Стало темнее, и за усталостью и суетой все, что было, показалось не важным, до обидного не главным, случайным каким-то и прошедшим навсегда. И Кате, качавшей ручку насоса, передалось это. А главным был Володя в малярской треуголке из газеты, который ожесточенно водил шипящим металлическим хоботком вдоль потолка.

То ли от того, что Топилину непривычно было спать на кухне, то ли от того, что все случившееся было столь неожиданно и непредсказуемо, но под утро ему приснился такой же ни на что прежнее не похожий сон. Ему приснилось, что он видит с высоты ярко-зеленое поле, и хоть спал, но и во сне поразился цвету и подумал, что это первый раз так. Пронзительно зеленое поле это он видел как на киноэкране, и сверху, с верхнего среза на этот экран стремительно влетали, кувыряясь, разноцветные перья, мешая смотреть. Перья были тоже яркие – самых немислимых цветов. «Это птицы, – догадался он, – это битва. Это птицы бьются насмерть там, наверху». Но радость, кощунственная радость была сильнее страха догадки. А по зеленому полю кто-то скакал. Вернее, то скакал, то летел – белого цвета. «Это Пегас, – понял он, – крылатый конь». И тут же и вправду увидел прекрасные белые крылья. И хотя перья, разноцветные перья, яростно влетающие откуда-то сверху, по-прежнему застили картину, мелькая перед глазами, он уже не думал о смертельной схватке, а любовался белым приближающимся крылатым конем, движения которого были замедленны и плавны.

Он вспомнил сон, когда умывался, подумал о вчерашнем и не испытал никакого раскаяния. Он мчался на работу и все время улыбался. «История!» – повторял он, или это само в нем повторялось. «Ну и история!» – и улыбался. «Ах ты, милая, – думал он о Кате, – милая, отважная». А как она ему ответила... «Ах ты, милая моя!» – И горячо становилось.

– Ты что это сегодня сияешь, как отполированный ноготь? – Отклонился прямой спиной из-за кульмана его приятель, поворачивая в его сторону свою действительно сияющую крепкую лысину отпетого холостяка. Его увеличенные очками, и без того на выкате глаза смотрели мощно и разоблачающе. Таких, с неумной энергией и крупными, едва уместающимися на лице чертами, называют людьми Юпитера. – Вот что значит без жены, – не стесняясь присутствующих, пророкотал он. – Приобщишься?

За соседними кульманами хмыкнули. Топилин тонко улыбнулся и не ответил.

– Приобщился! – утвердил приятель – его звали Костей – и, оживляясь от перспективы услышать подробности, загремел стулом.

– Да сиди, сиди, – хмыкнул Топилин.

Костя приложил палец к губам и, перекинув глаза в сторону раздавшегося смешка, кивнул ему уже с другим, заговорщицким выражением, которое, однако, настаивало на дальнейшем движении к сути – дескать, подробности потом, да? «Тет на тет?»

Топилин с поспешным согласием мотнул головой и одновременно сердито сдвинул брови, – что, недержание?

Костя понял, что требуется рыцарство – как все холостяки-бабники, он был помешан на куртуазности, – и радостно, оттого, что его жизненная философия подтвердилась еще одним сногшибательным (это Топка-то?!) аргументом, оцепенел у своего чертежа.

– Кто она? – с трудом дождавшись, когда Топилин выйдет перекурить, деловито спросил он, подставляя зажигалку.

– Брось ты, Костыка, в самом деле, – отмахнулся Топилин, хотя ему было приятно.

– Я ничего! – Отгородился ладонями Костя. – Не хочешь – не надо. Хозяин – барин.

Когда бросили окурки сигарет, он все-таки не удержался:

– Ну, хоть скажи – да?

– Ну да, да, да! – в притворном раздражении сказал Топилин и пошел к двери.

– Топка! – восхищенно простонал Костя. Вот за это его Топилин и любил.

Потом он на себя рассердился. Пижон, дешевка, чем ты хвастаешь? И что было-то? Мальчик, тебе сколько лет?

Вечер, хоть он и ждал его, и, закрыв глаза, приближал, тревожась, – вечер начался смутно. Было много работы. А уйти он уже не мог. Здесь была Катя. Ему казалось: оставь он ее – и выйдет предательство, как бы нельзя уже было оставлять ее на Володю.

«Смешно, – думал он, – ведь она все равно уйдет». А здесь вот не мог он ее оставить. Его квартира не допускала, чтобы Катя оставалась здесь не с ним. И неясно было – как вести-то себя теперь? Он и мыкался – из комнаты на кухню и обратно. Варил клейстер из муки, помогал разрезать рулоны обоев, раскатывал их. Хорошо, когда вдвоем с Катей. А то и с Володей. Намазывал половой щеткой – и они уносили овлажневший, нагруженный, готовый порваться кусок. Он оставался и томился ревностью. А потом уже Володя мазал, а они носили. И эти минуты вдвоем становились подтверждением того, что было вчера. Топилин и Катя бросались друг к другу – и в торопливой ласке, в коротких поцелуях в виду опасности и риска, было столько нерасплеснутой и теперь словно узнаваемой ими страсти, что в глазах темнело.

«А что Володя?» – время от времени спрашивал себя Топилин, плечами, затылком чувствуя нависающую угрозу и останавливая быстрые пронизанные дрожью руки и губы Кати, прерывая, отталкивая от себя – будто Катя хотела, чтобы их, наконец, застали и разоблачили, чтобы все наконец стало на свои места.

«Что будет?» – спрашивал он себя, не в силах противиться ее сокрушающей нежности, закрывая глаза и ожидая тупого смертельного удара сзади. Неужели Володя ничего не видит? «А, будь что будет!» – отвечал он, уже не полагаясь на себя, а только на Катю. Нет, не могла она его подвергнуть опасности. Словно сама брала его под защиту, зная, как должно быть.

А потом стало вовсе весело – к опасности привыкаешь быстро и становишься безрассудным. А безрассудство выше опасности. В конце концов побеждает тот, кто перестает бояться... Это всегда видно, что ты больше не боишься. Топилин уже ничему не удивлялся. Была такая сказка – чтобы набраться сил, герой прижимался к матери сырой земле. Так он прижимался к Кате.

Володя только ухмылялся. Это, думал Топилин, чтобы они поняли, что он, Володя, не лох и не отморозок, и все-то для него как на ладони. Будто его самолюбие этим и довольствовало. Топилин весело ждал. Тут каждое мгновение имело свой знак и свой черед. И поменять их местами было невозможно. И было в этой череде мгновение крутого разговора, мгновение удара по лицу и мгновение ухода. Но они миновали, так и не проявившись, и Топилин почувствовал, что теперь ему уже ничего не грозит. По крайней мере, на сегодня. Это все Катя... Если б не Катя...

Володя ухмылялся, как обиженный мальчик. Казалось, самое его жгучее желание – это подсмотреть за ними в щелку. Но подсматривать строго-настрога запретили, и у него было неудовлетворенное лицо. Безумие, что она ушла с ним. Не должна была уходить. Топилин готов был драться насмерть, а она ушла. Если б не ее утешающее, обещающее пожатие на прощание, он готов был бы подумать, что обманут. Коварно. Но он поверил этому рукопожатию, словно сказавшему, что так надо. А до того была еще смешная сцена, когда он доставал с полки книги, показывал им – и они с одинаковым ученическим прилежанием склонялись над страницами, прочитывая то, на что он указывал. «Да вы возьмите!» – сделал он широкий жест, вручая им (Володе) томик стихов любимого поэта, как бы в знак расположения и приязни желая приобщить к возвышенному, духовному. («просветитель»...), – «Дарю!» Это выглядело как откуп за происшедшее, за Катю, и ему показалось, что Володя и принял как откуп – взял с правом на это. Вслух же Володя сказал: «Зачем дарить? Мы вернем». Он надавил на «мы».

И в этой сцене, – наедине размышлял он, – тоже была важна и не обходима каждая деталь. Это было мое с ним объяснение. Володя не поверил нам. Не поверил, что это серьезно. Подумал, что это первый раунд, который можно и проиграть. Он решил, что второй, поскольку они уходят, и Катя будет с ним, выигран и без схватки. А если он ее изобьет? Негодяй! Трус! Ох, все-таки зачем она ушла? Вдруг, навязчивым, бесстыдно-страшным, уничтожающим видением возникло, как Катя и Володя ложатся вместе в постель, и он насильно овладевает ею – запрокинутое лицо Кати увидел, то, которое было в поцелуе перед ним, и застонал.

Ночью он проснулся с одной отчетливой мыслью – они больше не придут, а утром эта мысль выросла в убеждение. Самое дикое и непростительное – что он даже адреса не спросил. День начинался глухо и больно.

– Все идет, как надо! – прокомментировал Костя, бросив на него мощный, выпрашивающий взгляд. – Наше бытие пронизано диалектикой: сначала тезис, потом антитезис.

– А в глаз? – угрюмо буркнул Топилин.

Огромный Костя в комическом испуге отпрянул. Была в нем эта славная, обезоруживающая черта – он легко уступал.

Это было очень ясно – что не придут. А он-то пыжился, корчил из себя героя. Стыдоба. Обишурился. Стыдоба, да и только. Этот Володя оказался на три головы выше – ах, подлец, ах, политик. Лицо у Топилина горело. Не должен он был отпускать Катю. Не должен. А как бы было? Представь, как бы было? Ты что, в самом деле полез бы драться? Как самец? Кажется, в Эрмитаже он видел такую картину – два гориллоподобных мужика готовы к схватке из-за белотелой, с рыжими волосами, равнодушно взирающей на них женщины. Какая чушь! Ну, что он в самом деле? Бросить все и забыть. И какое он имеет право вторгаться в чужую жизнь? Никакого права. Вот так. Вот и живи, как жил. Вот и поделом. Вот так. По дороге домой он не замечал, что говорит вслух, и спохватился, только поймав удивленный встречный взгляд. Дошел, – горько усмехнулся он. – Точно дошел.

Он повернул ключ в двери – на него сыро дохнуло ремонтом. В квартире было погано. Она была безжизненной – разрушены все прежние приметы устойчивости, налаженности, тепла. Все вверх ногами. Это он сам и затеял. Все перевернул. А те, кто помогли перевернуть, покинули его в самый неподходящий момент. «Еще скажи спасибо, что тебе морду не свортили на сторону, – подумал он. – Тебе еще повезло. Ты очень везучий». А ремонт? Собственно говоря, основное они успели сделать. Это он все-таки отметил краем сознания. Обои в прихожей он и сам переклеит. И плинтусы покрасит. А на кухне стены можно оставить, как есть. Только помыть, и все. Только вот деньги, деньги они не взяли. Это они красиво. Чтобы унижить. Молодцы... Ах, стыдоба, стыдоба. Ну и ладно. Все. Топилин сказал себе «все» и вошел в ванную комнату. Из зеркала на него смотрел растерянный человек – среднее между рохлей и героем-любовником.

После душа стало много легче. Боль ушла. Раньше она была четкая, угнездившаяся и мучительно ворочающаяся в гнезде, а теперь – вроде туманного облачка с неясными краями, даже не понять – то ли боль, то ли так просто, хандра. Даже вроде жалко стало себя.

«Надо сходить в магазин, – подумал он, – купить молока и хлеба». Сегодня он ничего не будет делать. Ну его к бесу. Лучше посмотрит телевизор. Будет сидеть и смотреть и отламывать от свежего батона душистые ломти и запивать прямо из бутылки. Замечательно.

Он открыл дверь – за дверью стояла Катя.

– Извините, что задержалась, – на «вы» сказала она, неуверенно, но все же переступая порог. Судя по ее зарумянившемуся лицу, она торопилась.

– Вы что, уходите? – осведомилась ничего не значащим голосом, оглядывая, что где.

– Я на минутку, в магазин, – сказал Топилин. – Ела? Купить что-нибудь вкусное?

– Купите, – повернулась она к нему, улыбнувшись припухлыми губами. Только теперь он заметил, что у нее какой-то тревожный, раненый взгляд.

– А где Володя? – спросил он.

– Запил. Не придет.

– А... – качнул он головой. – Тогда, может, не стоило тебе... – Он счастливо лгал, зная, что за это ничего не будет.

– Как? – прямо посмотрела она на него. – Мы ведь обещали.

– Ну да... Конечно, – пробормотал он, с трудом сдерживая свое счастье. – Я сейчас. – И бросился вниз по лестнице.

Это было бегство – от нее, а больше от самого себя, а еще больше – от того, что стояло за ними. И самое блаженное в бегстве было предчувствие возвращения. Это предчувствие невозможно было бы перенести, не сбежав. «Она там!» – стучало, щемило, болело, ликовало в нем. Очень важно было, что она именно там и что она ждет. Он и покупал для нее – бестолково и сердя продавщицу. А сам только смеялся в ответ – лицо, может, и не смеялось, но внутри – внутри он смеялся от счастья. Странное такое счастье – ни от чего. Просто оттого, что она там. Так вдруг светло стало внутри. И чудилось, что он такой большой, всемогущий, а грудная клетка – это такое залитое светом пространство, когда солнце прямо в глаза, так, что смотреть невозможно и предметы расплываются, превращаясь в лучи, и потому – ни земли, ничего, только свет, только полет в этом свете, навстречу ему, – вот как было. Он и обратно бежал, отведя подальше руку, плавно неся в авоське снесь, не бежал – плавно скользил, летел, как белый конь с крыльями. Ключом открывать не стал – позвонил.

– Вот! – торжественно вытянул он навстречу Кате руку с авоськой. – Будем есть.

Она смотрела на него, как на ребенка, которого любят. Она смущенно следила, как он колдует среди свертков и кульков, гремит сковородкой, хлопает дверцей холодильника.

– Что это вы, в самом деле? Что я, вас обедать буду?

Топилин враз все бросил и осуждающе посмотрел на Катю:

– Вот так ты больше никогда не будешь говорить, идет?

– Идет, – кивнула она, замороженная этим нечаянным будущим временем, чувствуя и свой промах, и то, что без него не возникло бы сейчас мгновенно осенившей картины – «он и она».

– И еще говори мне «ты».

Она радостно кивнула.

Топилин хотел подойти и поцеловать, но почувствовал – нет права. Вчера было, а сегодня нет. Еще нет. Он и не подошел, только труднее стало – только что все было ясно и без тайны, а вот теперь и тайна, и скрывать нужно, притворяясь, что все просто и ясно.

Они сели за стол. Еда была разной – на мелких тарелочках.

– А сколько твоему сыну лет? – спросила Катя, протягивая вилку через стол, к ломтикам сыра. Голос у нее был равнодушный, как бы растворенный в деловитости движения руки с вилкой, спрятавшийся за это движение. Топилин почувствовал, что это не простой вопрос – он был выстрадан, решен в ней независимо от его ответа.

– Шесть, – сказал он как можно беспечней.

– Его зовут Петя?

– Ага.

– Как моего отца.

– Здорово! – почему-то восхитился Топилин.

– Он похож на тебя?

– Нет, – ответил, подумав, Топилин, забывая оставаться беспечным и незаметно для себя теплея глазами и голосом. – Скорее на мать.

– Может, потом будет похож на тебя? – предположила она. – Ведь дети меняются...

– Да, может быть, – опомнился он.

Разговор ему не нравился – опасный разговор. Главное – он препятствовал тому чудесному, непленному, ликующему, что переживал Топилин по дороге сюда. «Зачем она об этом?» – подумал, он. Неужели они не могут обойти эту тему? Ему лично это ничуть не мешало. Это были совсем разные, не пересекающиеся плоскости. Он даже увидел их. И вдруг почувствовал, что пересекутся где-то там, далеко, в ослепительном пространстве, все равно пересекутся – и холодком обдало. Легким таким холодком, как при взгляде из автобуса, когда проспишь свою остановку. Мгновенное падение сердца. Или это еще раньше случилось – когда со взглядом ее столкнулся. Это после какого-то его ответа она вдруг посмотрела на него совсем по-иному, как прежде не смотрела, и он словно сорвался в бездну. Во взгляде этом было даже не знание того, что будет, а скорее вопрос, но он почувствовал, что и в этом кротком ее вопросе они, Топилин и Катя, объединены, да так, что не освободиться, – что-то длительное, непрекращающееся было там. Он положил свою руку на ее (накрыл косточки кисти), как бы отвечая на этот взгляд, но на самом деле не справляясь с ним, и ее глаза не откликнулись на это прикосновение – оно было мельче вопроса.

Раздался звонок.

У Топилина вытянулось лицо. Катя закусил губу, и ее кулачки сжались. Это мог быть только Володя.

– Не открывай, – быстро шепнула она.

Это был бы лучший выход, но на кухне горел свет, и Володя, наверное, уже посмотрел со двора. Он мог и не поднять голову, но мог и поднять. Не открой теперь – он поймет бог знает что и, пьяный, разнесет дверь. А открыть...

Топилин решительно встал.

– Только прошу тебя, – вскочила за ним Катя. Она поверила его решимости. – Нет! – оттолкнула она его у двери. – Пусти, я сама. Я ему сейчас покажу.

– Катя... – мягко и укоризненно сказал он севшим от волнения голосом. С трудом сдерживая дрожь в руке, он щелкнул замком и неспешно потянул дверь на себя.

Это был Костя. В одной руке он, дурачась, держал за хвост бронзовую копченую атлантическую селедку, в другой – за головку – маленькую «столичной».

– Ты? – растерялся Топилин.

– Старик, – увидев их двоих, нимало не смущаясь, сказал он. – А я к тебе. Принимаешь? Э... да у тебя ремонт. Что ж ты не сказал. Я бы помог.

– Спасибо, мне уже помогают, – сказал Топилин.

– А... – протянул Костя, понятиливо поворачивая плечо назад.

– Послушай, – сделал вид, что сердится, Топилин.

– Слушаюсь, – сказал Костя, охотно вошел и толкнул спиной дверь. – Позвольте представиться, – обратился он к Кате. – Константин. Естественно, Эдуардович. Сослуживец вот этого негостеприимного типа. Можно сказать, на правах друга. На службе – архитектор, в быту – бобыль.

– Катя, – сказала Катя. – Маляр.

– О! – восхитился Костя. – По строительной части? Значит, мы родственники. Ну что? Будем квасить или как? То есть я хотел сказать «красить». – Он покосился на маленькую, которую продолжал держать в руке. – Что касается меня лично, то я убежден, что производительность труда только повышается...

– Ладно уж, – сказал Топилин, – шагай вот сюда, производитель. Больше некуда.

Выпили, чего Топилину вовсе не хотелось, закурили, сразу заполнив дымом кухню. Катя только коснулась губами рюмки и отставила ее в сторону.

– И правильно! – поддержал Костя. – В твои годы я больше всего любил газировку. Может, за лимонадом сбегать? – готовно привстал он.

– Не надо, – поспешно сказал Топилин. Визит мог затянуться.

Костя с укором посмотрел на Топилина:

– А если Катя хочет?

– Не надо, – улыбнулась Катя. – Спасибо.

Топилин с удивлением посмотрел на нее. Похоже, она не жалела об этом вторжении, наоборот, – лицо ее было приветливым, а глаза выражали готовность слушать и уважать.

Говорил больше Костя, все охотнее обращаясь к Кате, а она отвечала, чуть задумываясь перед ответом, и, похоже, – увлеченная этой игрой в анкету. За пять минут такого вот разговора Топилин узнал о ней больше, чем за три дня, и ему было обидно, что не он спрашивал. И еще он с неприязнью отмечал это Костино умение «раскалывать» людей, делать своими собеседниками.

– Н-да... – мычал тот, – жизнь у тебя не сахар. А ты подавай-ка документы в наш, архитектурный, а? – Он взглянул на Топилина, и в его глазах уже ясно читался целый план вспомогательных мероприятий. – Зачем тебе Лесотехничка? В лесу клещи, брр...

Топилину казалось, что он неудержимо откатывается на второй план, – роли поменялись, и ему досталась Володина, так что оставалось выйти и с ухмылкой взяться за кисть. Ему было необходимо перехватить взгляд Кати, коснуться ее как-нибудь незаметно, чтобы закрепить тайным знаком то, что уже было между ними и что давало им право друг на друга, но Катя словно сознательно не замечала его робких ухищрений. В повороте ее головы читалось: если ты мужчина, тебе нечего таиться. Будто она сердилась на него, будто он оскорблял ее гордость. Но не мог же он так вот встать и сказать: катись-ка ты отсюда, Костя. Похоже, они с Костей издевались над ним. В какой-то момент ему показалось, что кивни ей сейчас Костя, – и она встанет и уйдет с ним. Он вышел в ванную комнату – помыть руки после селедки – и, яростно растирая их под струей воды, твердил с горькой обидой: «Так вот она какая, теперь понятно», – твердил, сам не веря тому, что говорит, перелагая на нее какую-то свою вину, непонятную, неизвестно откуда возникшую, но вину – чувствовал, – вину.

Вернулся он такой темный и потерянный, что Костя что-то смекнул и вдруг засобирился. Его стали удерживать, но он еще больше смутился, забормотал о делах, которые «не ждут», и растерянным взглядом скользнул по лицу Топилина, ниже глаз, – было в этом взгляде ошеломление и нежелание ничего знать.

– Пока, ребята! – ненатурально гаркнул он и пропал.

– Жаль, что ушел, – неестественно сказал Топилин, останавливаясь в дверях кухни и глядя на опущенную Катину голову. Светлая челка, распавшись надвое, закрывала ее лицо, Катины пальцы подкидывали спичку. Та падала, тоненько постукивая по пластику стола.

– Хороший мужик, да? – продолжал он в ответ на Катино молчание.

Катя пожала плечами.

– Вы так говорили... – жалко улыбнулся он, не в силах вырваться из опутывающей его фальши, не владея мгновением. – Приятно было посмотреть.

Он ждал, что Катя возразит, скажет что-нибудь утешительное, но она только подкидывала спичку.

– Катя! – Топилин сделал шаг к ней и положил руки на плечи. Плечи были неожиданно теплыми и мягкими – родными по сравнению с ее осуждающим молчанием. – Ну нельзя же из-за того, что кто-то пришел, все губить.

– Разве он кто-то? – раздался ее голос.

Топилин осекся.

– И что ты имеешь в виду, когда говоришь «все»?

– Ты же знаешь, Катя! – с отчаянием сказал он.

Его руки не в силах были оторваться от тепла плеч – и надежда его была только в том, что Катя не делала попытки высвободиться. Она неожиданно подняла голову. На глазах ее были слезы. Это поразило Топилина. Он потянул ее к себе, приподнимая:

– Катя, что с тобой?

И чувствуя, что своими слезами она не только прощает его, а и уступает, смиряется, не протестует больше.

– Катя! – еще раз выдохнул он, уже не помня себя, не отмечая отдельно, где он, а где она, прижимая все сильнее, целуя и челку, и мокрые глаза, и щеки, и руки с шершавыми ладонями, вжимаясь в ее тепло, податливость и идя с ней куда-то, из кухни, из прихожей, в комнату. Она остановилась на полпути, стремительно взглянула на него тем своим затапливающим взглядом, и руки ее сами неожиданно сильно, властно обняли его.

– Родной мой, любимый, родной мой, любимый...

Она шла сама, сопротивляясь каждым своим шагом, и все же шла, и какие-то ее слова звучали страшным, клятвенным шепотом, как заклинания, – он их не понимал, – безумные слова, сопротивляющиеся ему и жаждущие покориться. Когда они остались нагими, она вдруг замолчала, и по телу ее, как по реке под ветром, прошла крупная дрожь, а когда легли, упали, переплелись, она снова говорила что-то безумное, – и вся она беззащитно пахла горьковатым лыком мочалки и земляничным мылом.

Сколько это длилось, он не знал, не помнил, но страсть его долго не могла истощиться. А потом наступил покой.

– У нас там, знаешь, как хорошо, – тихо, почти шепотом говорила Катя – головой на его плече, и отяжеленная ею рука его, еще не оправившаяся от внутреннего трепета, тихо, благодарно гладила ее тело. – Деревянные тротуары... И озеро... Большое такое... Лача.

– На озере Лача сижу и плачу... – бормотнул он ни с того ни с сего где-то слышанное.

– И церкви старинные... И леса. А в лесах грибы, ягоды. Ты любишь собирать грибы?

– Люблю.

– Ты приедешь, да? Я тебе дам резиновые сапоги. Такие тяжелые. И мы пойдем в лес... А добираться очень просто, на самолете. Туда самолет летает. Прямо из Каргополя. Знаешь, такой кукурузник, крылья сверху и снизу.

– Как стрекоза?

– Ну да.

– А здесь ты не хочешь жить?

– Нет. Мне не нравится... Я уже два года здесь и не могу привыкнуть.

– Почему?

– Так... Людей много. Толкаются. И никто друг друга не знает. Смешно.

– А откуда Володя взялся?

– Лодька? Так... случайно. Когда экзамены провалила.

– А почему ты выбрала Лесотехническую?

– У меня отец лесничий. Вообще-то он с нами не живет. Он с мамой развелся, когда мне еще было тринадцать. Наверно, поэтому. Хотела, как он.

– Ты его любишь?

– Люблю. Как же можно отца не любить! И сестренка любит. Ей сейчас столько, сколько мне тогда было.

– А почему он ушел?

– Не знаю. Он нам не говорил. Он молчаливый. А мама наоборот. Все его ругала. А он молчал. А потом взял и ушел. Мама топиться бегала. Но он не вернулся. Она запрещала нам с ним встречаться. Ужас какой-то. Я ей этого никогда не прощу.

– А его ты простила?

– Папу? Я даже не думала, прощать или нет. Раньше я не понимала, плакала поэтому. А сейчас понимаю.

– Что понимаешь?

– Ну... Если человек решил уйти, значит, он больше не может.

– Но есть же долг.

– Если не любишь, то долга нет. Ведь вместе живут, если это лучше.

– А ты, – сказал Топилин, – зачем ты живешь с Володи́ей? Ты же его не любишь.

Она ответила не сразу. Словно только что поняла, что Топилин прав, и огорчилась этому.

– Не люблю. Но любила, наверно. Я была совсем одна, не знала, что делать. Я так не хотела возвращаться к маме. Думала, в институт поступлю. Потом сестренку привезу. А он подошел. В столовой. Он был не такой, как сейчас. Потом у него аллергия началась – на краски на эти. Они же ядовитые. Он меня и на работу устроил и в общежитие. На Адмиралтейский. Мы корабли красили. Когда их уже на воду спустят. Сначала даже интересно было. Знаешь, какие там каюты?! А потом у меня голова начала болеть. За смену надышишься этих красок – ничего не соображаешь. Молоко бесплатно давали, но толку-то...И я кашлять начала. Говорят, легкие слабые. А потом я к нему домой переселилась. Вроде как невеста. Только у него мать ужасная. Во все лезет, всем командует. Володька мужик уже, а как щенок – во всем ее слушает. Она все ему твердит, что я ему не пара. Говорит, что я на жилплощадь позарилась. Нужна мне их жилплощадь! Потому мы и не расписались до сих пор – она против, думает, я разведусь и жилплощадь отсужу. Что за радость такая – только зло вокруг видеть! Володька не такой, он добрый. Я уже за это время раза три сбегала в общежитие, а он придет следом – сидит, сидит, сидит. Он меня любит. Вот я и возвращаюсь, как дурочка. Только я все равно решила его бросить. В сентябре возьму отпуск, уеду – и все.

Топилин тихонько, концами пальцев, продолжал гладить ее тело, рука была недвижна, приняв на себя ее легкую тяжесть, так что ему был доступен только маленький островок на бедре, которому он передавал свою нежность. Он продолжал гладить – как бы перекрывая своим чувством все, что слышал, не опускаясь до реальности, только теперь ему было нестерпимо грустно. Жизнь, едва подарив их друг другу, уже начинала разъединять, и только что проросшие корни, обнажаясь, как белые нити, рвались один за другим. С чувством начинающейся потери он прижал Катю к себе, повернул и, приподнявшись, стал целовать. Несколько мгновений она оставалась недвижимой, еще во власти того, что ему не принадлежало, не могло принадлежать, и он становился все настойчивее, ополчаясь против судьбы, в которой так ясно читалось, что было и что будет. Они словно уже начали прощаться и ласкали друг друга с одной и той же скрываемой мыслью – и нестерпимости этого прощания могла равняться только страсть. Но если его лицо было от нее темным, почти мрачным, судорожным, то Катино – светлым, одаряющим. Будто он разрушал, а она создавала.

– Ах ты, мой неугомонный... – звучали ее задыхающиеся слова.

Домой он повез ее на такси. Отпускал легко, тем более – она сама захотела уехать. Он и не спрашивал, почему. Может, втайне был даже благодарен за это. Она словно решила раз и навсегда уберечь его от проблем. Мудрая, милая девочка!.. Как это она говорила – «неугомонный». И еще – «ласточка моя». Он – ласточка. Топилин улыбался в темноте. Такси перемчало их с одного края города на другой. В темной теплой полуночи повсюду еще светились окна – за каждым что-то

делали люди. Сколько людей – и никто не знает друг про друга. И про него с Катей никто не знает. А что было бы, если б узнали? Может, так лучше, чтобы никто ни про кого ничего не знал. Кажется, он понимал, почему она не осталась. Чтобы было завтра.

Хлопнула дверца, и ее белая юбка, махнув, растворилась в темноте. Она попросила не провожать. Из-за Володи. Окна его блочного пятиэтажного дома смотрели прямо на них.

– Старик, ты спятил! – Похоже, Костя волновался, и его вспотевшая зажигалка, как он ни щелкал, не давала пламени.

– Послушай... – попробовал перебить его Топилин. По пути на работу он думал, как себя вести. Можно было отсечь разом – и не подпускать. Но что-то в этом было не так. Небезопасно как-то. И он решился на другое – на задушевность. Хотя, в общем-то, какое его, Кости, собачье дело. – Послушай...

– И слушать нечего. Тебе что, не найти...? (Он употребил непечатное слово, будто иного Топилин и не заслуживал.) Ты бы мне сказал. Я б в тот же вечер пришел бы с двумя метелками. (И это Топилин должен был слушать!) Ты что, не понял? Она ведь девочка. Ты сказал, что у тебя жена, дети?

«Она не девочка», – хотел возразить Топилин, но вовремя спохватился. Негоже было оправдываться.

– Она все знает, – сказал он. – Что еще?

– А то, что ты должен бежать, пока не поздно. Ноги в руки. Смотри, она принесет тебе в подоле ляльку. Вернее, твоей жене. Ой, поплачешь, Топка. Кровавыми слезами. А жена – тебе на работу. А на работе – моральный облик и прочие мелкие и крупные неприятности.

Костя был прав. Однако во всей его правоте было что-то стыдное, унижительное.

– Послушай, – прервал его Топилин, – послушай, милый Костя... – Топилин посмотрел на его крупное озабоченное лицо, лицо еще не старого сенбернара и улыбнулся грустной улыбкой. – Все, что ты тут городишь, я уже сам себе тыщу раз повторил. Только...

– Что только? – по неугасшей инерции рванулся вперед Костя.

– Только я хотел бы, чтобы кто-нибудь хотя бы однажды, пусть раз в жизни честно сказал бы мне, кто я такой есть? Человек или так просто, «тварь дрожащая».

– Друг мой, – сказал Костя, – это маразм. Не трогай великие тени.

– Я сегодня утром, – не слушая его, продолжал Топилин, – размышлял, что такое маленькие люди. И я понял. Маленькие люди – это те, у кого маленькие мысли. Так вот, я плевал на это. С десятого этажа. С сотога. С «Эмпайр стейт билдинг», понял?

– Топка, это чистый маразм. В лучшем случае – теория. А жизнь...

– Дурак. Ладно, я тебе скажу, хотя ты этого не заслуживаешь. Я люблю ее.

Сегодня он сделал несколько ошибок. И главную – что рассказал Косте. Не надо было. Тем более, что про любовь – это он поспешил. Он и сам-то еще не знал. Так – ляпнул, чтоб оправдаться. Этим словом всегда можно оправдаться. Кажется, единственное слово, которому верят. Катя – она жила в нем нежностью, воспоминанием и надеждой на новую встречу. Поди разбери – любовь это или что-то другое. Просто он ждал ее, и чем ближе становилось время ее прихода, тем неистовей. Какой она придет? Что было там, дома? А вдруг она придет с Володей?

Нет, это невозможно. А вдруг он увяжется – Отелло... Парень простой, немудрящий. Тяпнет мастерком – и привет.

«Надо бы вооружиться», – не совсем в шутку подумал Топилин. Поэтому и дома не стал ждать. Вышел во двор – благо, двор большой, кусты, деревья – и встал так, чтобы держать в поле зрения подход. Если они вдвоем – ну их к бесу. Не будет он связываться. Постоят, позвонят – и уйдут. И стыдно стало – «маленькие мысли». Ох, сколько маленьких мыслей. Что ни шаг. Вот так он и живет, будто все время голову в плечи вжимает, будто защищается от чьего-то замаха. А ведь никто и не замахивается – это он сам себе внушил. Вышел из-за кустов, пошел к подъезду, посвистывая.

Уже стемнело, только зубчатые кирпичные обводы газонов, самочинно покрытые известкой одним из пенсионеров-скамеечников, еще белели в сумерках, да несмотря на темень, неподалеку щелкали по столу костяшки домино. Катя возникла ему навстречу из этой сгущающейся тьмы. В брюках, рубашке, поверх которой была по моде надета шерстяная полосатая майка, она была очень юной, светлая челка ее распадалась при каждом шаге. Радость и угрызения совести кольнули Топилина одновременно.

«Ах, грешен, – подумал он, поспешая к ней, – грешен, прости».

– А Володя? – спросил он для порядка, хотя ведь знал – не подведет она.

– Запил, я же говорила. Теперь неделю будет пить.

– Он ничего? – не удержался Топилин.

– А если б и чего? – испытующе посмотрела она на него.

Он взял ее за руку и повел к себе. Их могли увидеть. Ну и пусть.

Они провозились с ремонтом до одиннадцати вечера. Топилин хотел было плюнуть на доделки и, прижав Катю к себе, закрыл глаза, но она мягко высвободилась. Она что-то сказала: «подожди», «постой» или, может, «потом», или даже ничего не сказала, а просто ладонь, прежде чем высвободиться, задержала на нем, так что это прозвучало как обещание, и, хотя и так все подразумевалось, то, что она сама понимала это, более того – дарила ему, как-то разом развернуло их отношения: из случайного, непредвидимого, колеблющегося, эфемерного – в ожидаемое, надежное, верное, в «семейное» – понял он. И представилось, он и она – муж и жена. Они вместе. Они ремонтируют свою квартиру, свой дом. Они друзья. Им просто и хорошо. Им спокойно друг с другом. Спокойно и надежно. И легко молчать. И легко говорить. Так, в этой тихой скрытой грезе и прошли часы. И наступило время сна. Он уже лежал, а она была в ванной, и он слышал, как плещет вода. Он ждал ее и знал, что ничего не произойдет, что помешало бы им. Он ждал ее как муж. Но как счастливый муж. Есть же такие счастливые семьи – слышал, читал. Может, и они были бы счастливой семьей?

Сегодня уже не было страха и сковывающего волнения – они открылись, доверились друг другу, будто знали друг друга всегда.

О чем они только не говорили в эту ночь. А утром простились, чтобы больше никогда не встречаться.

Поезд приходил в восемнадцать ноль-ноль, так что Топилин едва успел, купив по пути у цветочницы букет перестоявших в ведре маков. Он стоял на платформе, глядя то на медленно, неслышно надвигающийся состав, то – с сомнением – на пониклые оранжевые лепестки. Номера вагона в телеграмме почему-то не оказалось, и это покалывало Топилина предчувствием неизбежного конфликта: у них, конечно, претяжелый чемодан и сумки – варенья, соленья, а он даже не знает, куда бежать. Успокаивал себя, что жена возьмет носильщика, а здесь, в начале платформы, он их перехватит. Ну, не виноват же он, в самом деле! Но беспокойно было.

Состав остановился, хлынула и потекла навстречу толпа, и он напряг все внимание, чтобы не пропустить. Их все не было, толпа поредела, так что уже без риска прозевать можно было пойти навстречу. Жenu и Петьку он увидел почти сразу – какой-то мужик помогал им вынести вещи, жена кивала ему, видно, благодаря и отказываясь от помощи, и оглядывалась издали в сторону Топилина, не узнавая его. Он побежал. Он уже был в десяти метрах, когда она, наконец, заметила и, еще раз – демонстративно – поблагодарив мужика, тут же убрала улыбку и тяжело посмотрела на Топилина.

– Папа! – закричал Петька и бросился к нему. Мужик тоже оглянулся, понял – лицо его приняло удовлетворенное выражение, и самоустранился с сознанием исполненного долга.

Петька повис на Топилине, и так, вместе с ним, тот и подошел к жене. Петькин порыв был как нельзя более кстати.

– Здравствуй! Почему ты вагон не указала? – спросил он, потянувшись, чтобы поцеловать жену в щеку. Она отклонилась – чтобы он не достал – с тяжелой, несошедшей укоризной в глазах.

– Так-то ты нас ждешь...

– Клянусь, Люда, – сказал Топилин. – Вот, смотри! – И, опустив Петьку, полез за телеграммой.

– Ладно, – сказала жена. – Верю. Хотя, по-моему, ты просто опоздал.

– Да клянусь! – взмолился он, протягивая доказательство.

Жена, наконец, словно с сожалением убедившись в его правоте, кивнула на чемодан:

– Пошли.

Он подхватил, и они пошли. Пронесло. Топилин был почти счастлив. Умела она его поставить на место. Казалось, ему отпущены все грехи. Он шел очищенный, удовлетворенный, в считанные мгновения пристегнутый к упряжке. Супруг. И тянул ровно, с мерным привычным усилием налегая грудью.

Вид чистенькой квартиры внес окончательный мир.

– Папа, как это ты сам отремонтировал? – спросил Петька. – Ты разве ремонтник?

– Я не один, – сел Топилин на корточки перед сыном, чтобы жена не увидела его лица. Плохо как-то слушалось лицо, когда он вошел в эту, зияющую пустоту.

– А с кем? – ревниво спросила жена, словно почуяла что-то.

– Так... с парнем одним.

– Дорого взял?

– Нет, – сказал Топилин, по-прежнему сидя перед сыном, как бы занимаясь им, и назвал сумму.

– Дорого, – сказала жена. – Если вы вместе.

После ужина он мыл Петьку – с того семь грязей сошло. Накинул большое махровое полотенце, подхватил и на руках отнес в постель. Поцеловал, наказал не высовываться, «а то простудишься», и стал стелить себе, откинув спинку диван-кровати.

– Ты будешь мыться? – крикнул на кухню.

– А как же! – отозвалась жена.

– Тогда подожди, я зубы почищу.

Потом лег, потушил свет. Петька не спал – тихо возился за книжным шкафом, устраиваясь поудобнее, – в мать пошел. Та долго ищет удобную позу, прежде чем заснуть. Нервные все стали. Сам-то он засыпает сразу – как проваливается. Хотя тоже не флегма. А, может, флегма? Видение Кати качнулось перед ним. Катя... Сжало сердце, и глаза защипало. Свет из прихожей падал на новые обои, приклеенные вместе с ней. Катя... Боже мой! Из ванной, как вчера, доносился плеск воды.

«Надо уснуть, – подумал он, – уснуть». Но и засыпая, сторожко слышал, как пришла жена, удивилась его отключенной неподвижности, что-то спросила. Он ответил, с трудом, как из полного забвения, она молча оскорбилась, легла, не притрагиваясь к нему, а он уже спал, спал изо всех сил, боясь ее прикосновения, как ожога, – спал с открытыми в темноте глазами и чувствовал себя ничтожеством.

– Ну что? – спросил Костя. – Финита ля комедия?

– Отстань, прошу тебя, отстань, – сказал Топилин.

– Я ж говорил. Ну, ничего, ничего. Я ничего. Зато теперь у тебя есть, о чем вспомнить. Так, значит, расстались, да?

– Ну, расстались.

– Эх, Топка, Топка. А кто – ты или она?

– Она. А вообще-то я. То есть из-за меня.

– Ну да, я понимаю, понимаю.

Топилину захотелось говорить:

– Она умница. Сказала, что не хочет лишать Петьку отца.

Он глубоко затыкнулся. Глаза пощипывало – то ли от дыма, то ли от мыслей о Кате.

– Тебе еще повезло.

– Как утопленнику.

– Нет, определенно повезло. Все равно в твоей ситуации только такой и может быть финал.

– Какая у меня ситуация?

– Самая конкретная. Когда есть семья, все остальное – это путь по окружности. Он приводит только в исходную точку.

– Бездарно. Все бездарно.

– Брось. Ты просто выбрал не те ориентиры. Как сказал уважаемый философ, человек – это бесплодная страсть. Живи, работай, Петьку воспитывай. У тебя все хорошо.

– Живи, – усмехнулся Топилин. – А ты живешь?

– Я? Вполне. Ну, у меня совсем другое дело.

– А по-моему, то же самое. – Топилин бросил сигарету в урну. – По-моему, Костька, ты однажды сильно сплеховал. И с тех пор тоже по кругу, по кругу. И простить себя не можешь.

Костя вдруг замер, и лицо его стало растерянным.

– Это ты зря, – сказал он, – не надо. – В голосе его послышалась отдаленная угроза.

– Видишь... – сказал Топилин. И пошел.

Легко сказать – живи. Жить было нечем. Почему-то особенно тяжек был путь на работу и с работы – среди людей. Ощущение своей непринадлежности никому и ничему. Как бы никто его не замечал – будто сквозь смотрели. Пустота прозрачна. Самое удивительное, что жена ничего не почувствовала. Стало быть, так было всегда. Только сам он теперь иначе к этому относился.

По вечерам, чтобы не оставаться дома, он брал Петьку, и они где-нибудь бродили. Он сделал ему лук – и они стреляли на пустыре. Смастерил коробчатого змея, но ветра для этой громоздкой конструкции было недостаточно, и змей, нехотя поднявшись, тут же припадал к земле.

«Вот так и я», – горько усмехался Топилин. Петька много говорил, большой рассказчик – не в папу. Топилин слушал вполуха – только чтобы не ответить вместо «да» «нет». Однажды случился замечательный закат – нагнало облаков, они многоэтажно стояли в вечернем небе, сияя вершинами. Петька все зверей узнавал: «Смотри, папа, как кролик на задних лапках», – а Топилин видел горы, замки, что-то вроде сказочной земли святого Грааля, – и вдруг ясно осознал, что он глубоко и бесповоротно несчастен.

На следующий день, когда он вычерчивал на работе квартал вдоль извилистого поворота живописной речки Дудергофки, видя и эту речку, и ее поросшие кустами берега, и дом, и этаж, и окно, откуда он и Катя смотрят, обнявшись, на этот узкий – в четыре шага, – но упорный, несдающийся ручеек, в дверь постучали, и кто-то вошел. Странно было, что стучат, но Топилин не повернул головы, почему-то решив не смотреть, и тут раздался голос Кости, удививший его своим звучанием, прежде чем он понял смысл сказанного:

– Юрий Павлович, к вам пришли.

Он обернулся. Остановившись в дверях, на него смотрела Катя.

В длинном коридоре никого не было. Только одна из сотрудниц вышла следом за ними и, изумленно глянув на них, застучала каблуками в противоположную сторону. Ему было трудно говорить.

– Катя... – только и повторял он. – Катя...

Она смотрела на него и улыбалась. Теперь лицо ее было совершенно спокойным, совсем не таким, как там, минуту назад, в дверях.

– Я пришла, – сказала она.

...Соображать он начал только потом, оставшись один. Что он говорил ей, – это еще не считалось. Это был порыв. Счастье гораздо на порывы. Он должен быть хладнокровен, решить как задачу, при этом ничего не утаив от самого себя. Только тогда ответ будет окончательным. Даже любовь нельзя вводить главным условием – любовь может пройти. А долг остается. Значит, есть что-то еще. Свобода. Отчего? Что делает человека человеком? Свобода выбора. Вот альтернатива рабскому существованию. Я выбираю – значит, совершаю поступок. Поступив так, а не иначе, я определяю все дальнейшие обстоятельства своей жизни. На человеческую жизнь приходится всегда несколько таких поступков. И если то, что выбрал когда-то, стало теперь своей противоположностью, значит, надо снова выбирать. Так, словно в лихорадке, возбужденно размышлял Топилин, опять чувствуя, что он не в прошлом и не в будущем, а – в настоящем, творимом его руками, как тот квартал белых пенопластовых кубиков-зданий, которые он волен был расположить согласно своему внутреннему представлению об истине и красоте.

«Но разве я не выбрал, когда расстался с Катей? Значит – нет, раз по-прежнему несчастен. Поступок приносит удовлетворение, ощущение единства чувств и мыслей – гармонию, черт подери! Стремление к гармонии – вот вектор всех человеческих страстей. Значит, я просто отказывался от этого стремления. Жалкий раб, ничтожество, трус!» Но тут ему стало больно, и вовсе не от своего открытия – он подумал, что теперь ему ничего не остается, как уйти из семьи. И ясность вынесенного себе приговора никак не увязывалась с живой горячей болью, когда он

представил одинокие, несчастные без него, бредущие по бесконечной пустыне жизни фигурки жены и сына.

Жена – может быть, она вовсе не виновата в его бедах, и все неблагополучие их союза сложилось на уровне биоритмов, в поле пересечения тех, еще не уловленных волн, которые делают счастливыми и несчастными абсолютно независимо от всего того, что мы принимаем за любовь. Он подумал, что в будущем наука обязательно найдет способ возвращать двоим эти утраченные волны, а пока... Все-таки почему жена постоянно, хотя и скрыто, им недовольна, а он постоянно чувствует себя виноватым? Неужели ничего нельзя сделать, чтобы она снова любила его, а он – ее? Она ему нравилась, казалась красивой, пожалуй, красивее, чем Катя. Так отчего же этот холод, это постоянно преодолеваемое отчуждение – как самый главный труд жизни, принятый им на себя?

«Нет, – горько подумал он, наполняясь знакомым раздражением, – это навсегда». Так жить, как они, – безнравственно, преступно. И прежде всего по отношению к Петьке. Что такой отец сможет дать сыну? Но если бы только не было в груди так горячо и больно.

– Может, ты что-нибудь посоветуешь, гений-практик? – подошел Топилин к Косте, глядя на него без прежнего превосходства, без соперничества, зависимо, как глядят на последнего долго разыскиваемого врача. И подумал, что раз спрашивает, то – безнадежен.

– Знаешь, Топка, – с неожиданным энтузиазмом отозвался Костя, – когда она вошла и ты бросился к ней, я вам позавидовал. Только, пожалуйста, не делайте меня третьей стороной. Наверно, я не конченный тип, раз могу обрадоваться чужому счастью.

По странному парадоксу, именно Костины слова и определили решение Топилина, и больше он уже не оглядывался, словно оглянуться – значило потерять все.

На вечер у него с женой были билеты в театр. Колебался – сказать сейчас или после. Решил – лучше после. Пристально глянул в себя – не предает ли Катю? Нет, не предает. Просто он, по-видимому, слишком мягкий человек. Не слабый же – нет, просто мягкий. Или времени не хватило, чтобы собраться с духом. А сможет ли? Сможет, только обязательно сегодня. Голова чуть кружилась, будто на краю бездны стоял. Что там? Это как во сне – можно прыгнуть, зная, что полетишь – не разобьешься, надо только шагнуть.

Вечер выдался теплый, тихий, неподвижный. После спектакля сначала пошли пешком. Город обезлюдел – туристы схлынули, а жители, как водится, с пятницы на субботу подались на дачи. У них никогда не было своей дачи. Зачем? Он подумал, если бы была дача, то ничего бы не произошло. Неужто? Или в жизни каждого происходит только то, что должно произойти? Без всяких «если». Каждый решает сам. И свобода в том и состоит, что ты можешь принять решение. Так это ясно стало, что, казалось, жена не может не порадоваться его открытию. Вот он идет рядом с ней, свободный человек.

Она молчала о чем-то своем. Почему-то их выходы – в гости ли, в музей, в театр – часто заканчивались разъединением, обособлением каждого. Будто упряжь была не универсальна – не на все случаи жизни. Будто все эти выходы из колеи таили в себе некую опасность – и тогда жена обязательно как-нибудь так поворачивала, что он снова, с чувством вины, торопился попасть в ногу.

Да, наверно, он слишком смотрел по сторонам – это ее сердило. «Настоящий мужик так себя не ведет». Она права, он уже давно был ненастоящим.

Давно, но не всегда. И женитьба – может быть, это был его первый мужской поступок. Если – раньше – не считать армию, когда он из гордости не стал переносить документы на вечернее отделение – на дневное он не прошел по конкурсу – и его призвали на срочную службу.

...Легко так стало, когда они расписались в ЗАГСе, – он прыгал чуть не до потолка. Если бы только не тот аборт... Наверное, поэтому он и женился. Нет, это все равно был поступок. Однажды – они жили вместе уже третий год, снимали комнатенку на задымленной Турбинной улице – возвращались откуда-то из гостей – тогда они еще часто ходили в гости, – остановились на лестнице перед хозяйской дверью, и он прижал Люду к себе, зарылся лицом в ее длинные темные волосы, и таким родным, близким, вечным показался их запах, что он вдруг стал неистово целовать ее и все говорил, что любит и что никогда ни за что они не расстанутся, что бы ни случилось, – и она разрыдалась коротко и счастливо. Судя по всему, она запомнила то объяснение в любви. Хотя, наверное, именно тогда началось то, что медленно и неуклонно стало разъединять их, – потому он и клялся, что хотел заткнуть самого себя в эту медленно раздававшуюся щель.

В автобусе тоже было пусто, и облегченные рессоры потряхивали на выбоинах. В темноте, по мосткам перешли разрытую улицу и повернули к дому. Кое-где еще светились окна – их были темны. Петька у подруги жены. Не хотелось думать про Петьку – это единственное, что не было, не могло быть решено. Ну да потом, образуется. Без Петьки нельзя – кто ему лук сделает? «Но и с женой нельзя, – твердил он себе, боясь снова соскользнуть в жалость. – Нельзя. Невозможно».

Пили чай. Так и не привык он к этой окрашенной и переклеенной чистоте. Закурили – жена курила с ним за компанию.

– Ну так что ты мне хотел сказать? – спросила она немного усталым, немного недовольным голосом. Ей хотелось спать, но любопытство было сильнее.

– Сейчас, – сказал он, глубоко затягиваясь, чувствуя, как слабеют руки, начиная от кончиков пальцев, – сейчас... – И, сделав усилие, прямо посмотрел на жену.

У нее изменилось лицо – замерло.

«Как изменилось лицо», – подумал он.

– Что произошло, Юра? – Теперь в ее голосе была тревога.

И это он отметил. В нем словно включилось какое-то новое видение – и это свое объяснение с ней, то, как он и она сидели, как стояли, ходили, и каждое слово, каждый жест – все это он навсегда запомнил, будто из зрительного зала на себя же с женой и смотрел: как они там мучились и плакали попеременно, и повышали голос, и молчали, и снова начинали говорить и плакать.

Он и теперь, через пять лет, мог бы повторить этот диалог слово в слово.

«...Ты ошибаешься... Ты страшно ошибаешься...» – это она.

«Может быть, но я хочу научиться уважать себя. Нет, не уважать – просто не презирать. Я не хочу чувствовать себя ничтожеством», – это, разумеется, он.

«Ты не ничтожество. Ты добрый, мягкий. Ты хороший человек. Я люблю тебя. Ты не можешь уйти».

«Нет, я просто твоя основная вещь. Ты привыкла пользоваться мной. Ты ни разу не заглянула в меня. Ты про меня ничего не знаешь».

«Я изменюсь, я сделаю все. Тебе будет хорошо».

«Поздно».

И еще про Петьку, долго про Петьку, и опять: «Почему? Почему ты раньше мне не сказал, почему ты не сказал пять лет назад? Ты губишь нас, ты ломаешь нам жизнь...»

«Нет, – твердо говорил он и верил, как никогда, верил тому, что говорит, – я помогаю, я спасаю вас. Так жить нельзя, никто не имеет права так жить».

«Как? Разве мы плохо живем?»

«Я – да, плохо. Ужасно. Я потерял себя, я хочу себя найти».

«Да... да... я понимаю, – цеплялась она. – Пусть так, ты прав. Но все-таки не уходи, я молю тебя, не уходи. Я сейчас побегу, Петю приведу...»

И не выдержал бы он – никто бы не выдержал, нельзя это выдержать, – если б одновременно не сидел в отдалении, в зале, и не глядел бы на себя сосредоточенно и беспощадно.

Ночью вдруг загорелся свет – он с усилием открыл глаза. Перед ним в ночной рубашке с распущенными волосами стояла жена. Она опустила на колени и заговорила безумным шепотом:

– Юраша, я не могу заснуть. Все думаю, думаю. Я поняла. Тебе не обязательно уходить. Ты делай все, что хочешь, хорошо? Будь с ней, с Катей. Я ни слова не скажу. Любите друг друга. Я не помешаю. Только живи с нами, хорошо? Хорошо, Юраша?

И это тоже навсегда врезалось в память, и что он ответил, и как сказал с состраданием «спи, Люда, спи» – и как она уже без надежды слепо пошла на Петькин диванчик. Все это и теперь болело, но, казалось, не было у него тогда другого выхода.

Утром, как и договорились, она отправилась к подруге за Петькой – ее пошатывало – а он собрал свои вещи, открыл дверь и, остановившись на пороге, окинул торопливым, прощальным взглядом свое жилье.

Он не мог и предположить, что всего полгода спустя будет стоять во дворе своего дома и глядеть на родные окна, светящиеся в темноте. Тогда же он и узнает, что в том доме ему больше нет места.

1978